



Посвящается Дж.

*Безумца грешного, кто дерзко вышел в море,
Ждет хлябь разверстая небес, а вскоре
Страх и мученья адовы на океанском дне –
И гибель скорая в коварной западне.*

*Сэмюэл Гарт. Посвящение Ричарду,
графу Берлингтонскому, на издании
перевода «Искусства любви» Овидия*

*Остров Самсон, архипелаг Силли
декабрь 1798 года*

Он упустил из внимания тяжесть. Холод — предвидел, подвижную плотность воды тоже принял в расчет. Темнота? Фонарь светит довольно ярко, и, если он не сможет что-то разглядеть сквозь толщу воды, выручит память. Но вот тяжесть... Это было нечто непредвиденное.

С фонарем можно справиться: он привязан к его запястью толстой веревкой, так что обе руки остаются свободными. Правда, фонарь тяжелый и неудобно оттягивает руку, а соленая вода жжет кожу, натертую веревкой. Две веревки, петлями продетые под мышки — одна для поднятия груза, другая для его собственного подъема, — создают неудобство, но помогают телу сохранять равновесие, покуда он спускается. Утапливаемые противовесы при всей их громоздкости тоже не создают больших помех.

Основное неудобство — от наголовника, сделанного из прочной оловянной пластины. Это выпуклое вместилище воздуха соединено с защитным кожаным костюмом, плотно стягивающим торс беспощадным корсетом. На палубе, когда он надел эти доспехи, они не казались настолько тяжелыми. Но под водой тесный костюм стал похож на скелет, стянутый железными обручами, которые больно защемляют кожу. А еще — давление воды и ледяное зимнее течение... Он потребует доплаты, как только работа будет выполнена.

Этой ночью ему пока что везло. Чернильная колыбель неба усеяна звездами, луна полная, круглобокая. Во время шторма он внимательно изучил окрестности — корабль наконец угнезвился на отмели меж двух небольших островков, разделенных проливом, и эти клочки суши были испещрены руинами каменных построек. Руины белели в лунном свете, служа маяком для их утлого парусника, и, несмотря на декабрьские шквалы, над волнами явственно виднелся концевой бимс правого борта. Так что найти затонувший корабль оказалось совсем нетрудно.

Но почему же у него такое ощущение, будто его сюда направила некая незримая сила?

К счастью, затонувший корабль сел на мель. Раньше он ни разу не пользовался этой штуковиной и не рискнет опускаться глубже, чем нужно. Не больше чем на двадцать футов¹. Это не опасно, уговаривает он сам себя. К тому же он точно знает, где искать. Согласно подробной инструкции, нужный предмет был надежно спрятан в правом крамболе², отдельно от прочих ящиков, тесно составленных в грузовом отсеке. Вот только во время шторма корабль раскололся, и теперь он надеется, что удача его не подведет — что нужный ему ящик не протащило слишком далеко по морскому дну и что никому еще не удалось им завладеть.

Ледяная вода вонзает в руки и ноги холодные иглы. Облаченный в тяжелый костюм, как в кокон, он опускается все ниже и ниже, с усилием дыша и ощущая едкий привкус металла во рту. Воздушные трубки, идущие от наголовника к поверхности воды, очень длинные, и он представляет, как они тянутся за ним, точно веревка висельника. Он держит фонарь перед собой и, глядя сквозь смотровое оконце куполообразного наголовника, с облегчением видит внизу темный абрис корабельного каркаса. И он опускается туда, щурясь в морской мрак. Ему чудится, что откуда-то снизу доносится крик, тихий и жалобный. Он склоняет голову, наостряет слух и продолжает спускаться в пучину.

Его ноги упираются во что-то твердое. Под подошвами скользит песок. Он опускает голову и пытается взглянуть вниз. Очень осторожно. Его предупреждали, что, если сделать резкое движение, вода может просочиться в наголовник. Медленно, да, очень медленно. Ну вот. Угол какого-то предмета. Оттолкнувшись пяткой, он чуть всплывает и попадает обратно в течение. Потом снова опускается, нащупывает ногами дно и поднимает фонарь к глазам. В шести футах, или около того, от обломков корабля он различает темные углы ящика. Кровь гулко стучит в висках. Он уверен: это то самое! Медленно продвигается вперед, ставит перед собой одну ступню, потом другую, неторопливо перемещая ноги в толще воды. Когда что-то чиркает его по голени, он подпрыгивает и, опустив фонарь, видит, как пучок водорослей танцует вокруг его икр.

Ящик опасно балансирует на большом камне. Он подбирается к нему поближе и вновь поднимает фонарь. Даже в кромешной морской тьме он отчетливо видит крест, намалеванный им на стенке ящика перед отправкой из Палермо. В это мгновение его охватывает радость от того, с какой легкостью ему удалось все проверить, но потом фонарь вдруг

¹ 20 футов приблизительно соответствуют 6,9 м. (Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, примечания редактора.)

² Крамбол — небольшой кран для ручного подъема якорей на судно.

ПАНДОРА

мигает, вспыхивает в последний раз, гаснет, и он понимает, что мешкать больше нельзя.

Развязав веревку на запястье, он ставит фонарь между двух обломков затонувшего корабля так, чтобы его не перевернуло течение, потом снимает веревочную петлю с одной подмышки и начинает трудоемкую работу по обвязыванию ящика этой самой веревкой. Ему следует действовать предельно осторожно — совершить оплошность нельзя! — и этот камень для него как благословение свыше, потому как не будь этого камня, ему бы пришлось предпринимать усилия по подъему ящика со дна морского. Покуда он трудится, вокруг него мечутся крохотные рыбки. В какой-то момент он останавливается и напрягает слух, пытаясь что-то расслышать через оловянные пластины наголовника. Это пение? Нет, скорее, стенания моря. Разве ему не говорили, что если провести под водой чересчур долго, то последствия могут быть фатальными?

Но почему все происходит так быстро?

Он спешит, работает так быстро, как только может, преодолевая тяжесть наголовника, стесняющего движения. Четыре раза обвязывает веревку вокруг ящика и, хотя его пальцы скованы холодом, завязывает такой тугой узел, что эту веревку потом придется разрезать ножом. Закончив с узлом, он резко дергает за веревку — раз, другой, — посылая сигнал вверх. Длинная веревка дергается, ослабевает и снова натягивается. Затем он, торжествуя, провожает взглядом ящик, который поднимается на веревке, вздымая тучи песка. Он слышит приглушенный стон дерева, медленный всплеск потревоженных вод и чуть слышный — такой тихий, что он подумал, будто это ему почудилось, — женский шепот или вздох.

Лондон
январь 1799 года

ЧАСТЬ I

В самом себе живет бессмертный дух,
Внутри себя создать из ада небо
Способен он, и небо — сделать адом¹.

Джон Мильтон.
Потерянный рай (1667)

¹ Перевод О. Чюминой.

ГЛАВА 1

Дора Блейк горбится за своим рабочим столом с самого рассвета. Табурет, на котором она сидит, слишком высокий, но она к этому уже привыкла. Время от времени она откладывает миниатюрные шипчики, снимает очки и щиплет себе переносицу. А еще — разминает затекшую шею, распрямляет спину и потягивается, пока позвоночник не издаст приятный щелчок.

Сквозь выходящее на север оконце ее чердачной комнатухи проникает скудный свет. Для работы над филигранным узором Дора была вынуждена передвинуть свой стол и высокий табурет прямо под это оконце, потому что одинокая свеча не дает достаточно света. Дора неловко ерзает на жестком сиденье, надевает очки и вновь принимается за работу, стараясь не обращать внимания на холод. Оконце широко распахнуто, несмотря на зябкий новогодний воздух. В любой момент Гермес может вернуться с новым сокровищем, которое увенчает последнее творение Доры, и она уже открыла дверцы его клетки. Остатки украденного завтрака рассыпаны под жердочкой — награда за успешную, как она надеется, утреннюю охоту.

Она прикусывает нижнюю губу, вздыхает и вновь берется за шипчики.

Попытаться изготовить тончайшую канитель¹ было слишком амбициозным намерением, но Дора в любом случае — оптимист. Кто-то может назвать этот ее оптимизм обычным своенравием, но она считает свою амбициозность оправданной. Дора знает — знает! — что у нее талант. И она не сомневается: настанет день, когда все это признают и ее украшения будут носить весь город. А возможно, думает Дора — уголок ее рта опускается, когда она ставит на нужное место совсем крошечную проволочку, — и вся Европа. Но потом она качает головой, отгоняет свои возвышенные мечты и, оторвав взгляд от изъеденных древесными

¹ Тонкая витая золотая нить, используемая в вышивке и ювелирном деле. (Здесь и далее примечания переводчика.)

жучками потолочных балок, старается сосредоточиться. Отвлекаться нельзя — иначе долгие часы кропотливой работы над этим плетением пойдут насмарку.

Дора отрезает еще один кусочек от мотка проволоки, висящего на вбитом в стену гвозде.

Красота золотой нити в том, что она имитирует тончайшее кружево. Дора видела парюры¹, выставленные у Ранделла и Бриджа², и они буквально заорожили ее своими замысловатыми ажурными орнаментами: колье, серьги, браслет, брошь и тиара явно изготавливались на протяжении многих месяцев. Поначалу Дора подумывала, не создать ли в таком же стиле пару серег по сделанному ею эскизу, но затем скрепя сердце сочла, что лучше с пользой потратить время на нечто иное. Это колье в конце концов лишь образец, лишь способ продемонстрировать свои умения.

— Ну вот! — восклицает она, откусывая тонкими щипчиками лишнюю часть проволоки. Застежка беспокоила ее все утро, потому как ее изготовление оказалось жутко трудоемким, но теперь, когда работа закончена, можно сказать, что дело стоило и пробуждения сегодня ни свет ни заря, и одеревеневшей спины, и занемевших ягодич. Она кладет щипчики, дует на ладони и энергично их потирает, и тут от соседских крыш к оконцу комнатухи с глухим клекотом подлетает пушистый черно-белый вихрь.

Дора выпрямляет спину и улыбается.

— Доброе утро, друг сердечный!

В оконце впархивает сорока и мягко садится на кровать. На шее у птицы болтается сшитый Дорой маленький кожаный мешочек. Гермес склоняет шею под тяжестью груза в мешочке.

Он что-то нашел.

— Иди-ка сюда, — говорит Дора и плотно затворяет оконце, оставляя снаружи зимнюю стужу. — Покажи, что ты раздобыл.

Гермес тихо стрекочет и опускает голову. Шнурок мешочка соскальзывает с шеи на клюв, и птица, тараторя что-то свое, скидывает поклажу. Мешочек со стуком падает, Дора хватает его и взволнованно вытряхивает содержимое на потертое покрывало.

Осколок керамической чашки, металлическая бусина, стальная булавка. Все это может пригодиться; Гермес никогда ее не разочаровывает. Но тут внимание Доры привлекает другой предмет, выпавший на кровать. Она поднимает его и подносит к свету.

¹ Парюра — набор ювелирных украшений, ювелирный гарнитур.

² Имеется в виду ювелирный магазин в Лондоне того времени, где продавались изделия знаменитых английских ювелиров Филипа Ранделла (1746—1827) и Джона Бриджа (1755—1834).

— Ach pai¹, — шепчет Дора. — Да, Гермес. Великолепно!

Она зажимает между пальцев плоский стеклянный овал размером с куриное яйцо. На фоне серого моря городских крыш он сияет бледным пятном с молочно-голубым отливом. Для филиграни лучше всех драгоценных камней подходит аметист — сочный пурпурный цвет ярко сверкает на желтом фоне, подчеркивая интенсивный оттенок золота. Но Дора обожает аквамарин. Он напоминает ей средиземноморское небо, теплый воздух ее детства. Этот гладкий кусочек стекла подойдет идеально. Она зажимает его в ладони и чувствует, как мягкая поверхность холодит кожу. Дора протягивает руку к птице. Моргнув черным глазом, сорока вспархивает на ее кулак.

— Полагаю, это заслуживает сытного завтрака, как считаешь?

Дора относит Гермеса в клетку. Птица водит клювом по деревянному полу, подбирая крошки хлеба, которые хозяйка рассыпала там загодя. Она нежно гладит шелковистые перья, любясь их радужным отливом.

— Ну вот, сокровище мое, — мурлычет она. — Ты, должно быть, устал. Так-то лучше?

Поглощенный процессом еды, Гермес не обращает на нее внимания, и Дора возвращается за рабочий стол. Она смотрит на колье, оценивая свою работу.

И, надо признаться, она не удовлетворена. Узор, так красиво смотревшийся на бумаге, в реальности выглядит не слишком впечатляюще. То, что задумывалось как плетение из витого золота, оказывается всего лишь унылыми серыми проволочками, закрученными в миниатюрные петельки. То, что должно быть сияющими жемчужными песчинками, — всего лишь грубо обтесанные осколки битого фарфора.

Но Дора и не надеялась, что ее изделие в точности совпадет с карандашным эскизом. У нее нет нужных инструментов и материалов, да и соответствующей практики тоже нет. Но ведь это всего лишь начало — доказательство того, что ее работе присуща красота, ведь даже сделанные из простых материалов, ее украшения отличаются изяществом. Дора не удовлетворена, но все-таки рада. Она надеется, что у нее все получится. А как же иначе — с таким изумительным овальным камешком в центре!

Раздается стук и приглушенный звон дверного колокольчика.

— Дора!

Голос, прозвучавший тремя этажами ниже, резкий, отрывистый, нетерпеливый. Гермес беспокойно свиритит в своей клетке.

— Дора! — снова лает голос. — Спускайся и займись лавкой! У меня срочное дело в доках.

¹ О да! (зреч.)

Это заявление сопровождается глухим стуком двери, а потом еще одним, далеким, стуком. Воцаряется тишина.

Дора вздыхает, накрывает колье льняной тряпицей и кладет рядом очки. Она вставит в колье овальный камешек позже, когда дядюшка отправится спать. С сожалением Дора прислоняет стеклянный овал к подсвечнику, где он неподвижно стоит лишь мгновение, и тут же падает.



Невозможно пройти мимо «Эмпориума экзотических древностей» Иезекии Блейка. Хоть он и зажат между кофейней и галантерейной лавкой, ни один пешеход не сумеет миновать его большое арочное окно, возле которого люди невольно замедляют шаг — такое оно огромное. Но внимание пешеходов на этой улице привлекает и многое другое: в наши дни редко кто задерживается надолго у этой витрины, поняв, что за окном с потрескавшейся краской на рамах не найти ничего более экзотического, нежели платяной шкаф прошлого века или пейзаж кисти эпигона Гейнсборо. Когда-то преуспевавшее предприятие ныне стало хранилищем подделок и пыльных диковинок, не представляющих никакого интереса для обывателей, не говоря уж о привередливых коллекционерах. И зачем дядюшке понадобилось звать ее вниз, Дора понятия не имела: она вполне могла бы провести сегодняшнее утро, не отвлекаясь на случайных посетителей.

Когда был жив папенька, торговля шла бойко. Пускай Дора в ту золотую пору была еще ребенком, но она помнила, каких клиентов обслуживали в магазине Блейка. Виконты наперегонки спешили на Ладгейт-стрит, чтобы заказать для своих особняков на Беркли-сквер обстановку, стиль которой напоминал бы хозяевам о красотах европейских столиц, виденных ими во время очередного Гран-тура¹. Удачливые торговцы находили здесь самые дорогие экспонаты для своих лавок. Частные коллекционеры щедро платили Элайдже Блейку за ценные находки, обнаруженные им и его женой на раскопках в заморских странах. А что теперь?

Дора затворяет дверь, отделяющую жилые помещения от магазина на первом этаже. Колокольчик весело вызванивает приветствие, когда дверь возвращается на место, но она стоит перед ней, плотно сжав губы. Даже

¹ Гран-тур, или Большое путешествие (*франц.*) — поездка по континентальной Европе, которая считалась необходимым элементом культурного просвещения английского дворянина той эпохи.

без Лотти Норрис, чьи глазки-бусинки неотступно следят за Дорой, этот противный колокольчик, установленный Иезекией, отлично справляется с задачей ограничивать ее перемещения по дому.

Закутавшись в шаль поплотнее, Дора решительно входит в торговый зал. Здесь все заставлено мебелью, случайно соседствующими уродливыми артефактами, книжными шкафами, забитыми фолиантами, коим на вид лет десять — и ни днем более. Массивные буфеты стоят впритык, на их тусклых полках громоздятся не бог весть какие безделушки. Но, несмотря на царящий тут беспорядок, между товарами всегда оставлен довольно широкий проход, потому что в дальнем конце магазина виднеются большие двери, ведущие в подвальное помещение.

В личное святилище Иезекии.

Некогда подвал служил рабочим помещением для родителей Доры — это было их бюро, где они составляли карты будущих раскопок и хранили предметы, нуждающиеся в реставрации. Но когда Иезекия перебрался сюда из своих тесных комнатенок в Сохо, он тут все полностью переоборудовал, изничтожив следы пребывания здесь маменьки и папеньки, так что Доре остались от них одни воспоминания. И теперь от прежнего «Эмпориума Блейка» не уцелело ровным счетом ничего. Торговля захирела, как, впрочем, и репутация магазина.

Дора открывает новую страницу амбарной книги (вчера она оставила здесь всего лишь две строчки) и пишет дату на полях.

Какие-то продажи у них бывают. На протяжении последнего месяца деньги притекали ручейком — тоненьким, но неизменным, прямо как вода, что капает с их прохудившейся крыши. И каждая такая продажа основана на обмане, на умении выгодно показать товар. Иезекия к любому предмету присовокупляет какую-нибудь фантастическую историю. Так, деревянный сундук якобы использовался неким работником для перевозки в нем двух детей-невольников из Южной Америки в 1504 году (а на самом деле его всего-то неделю назад сколотил плотник из Детфорда); пара изящных подсвечников принадлежала некогда Томасу Калпеперу¹ (выкованы кузнецом из Чипсайда). Однажды Иезекии удалось сбавить смотрителю борделя зеленую бархатную софу, принадлежавшую, по его уверениям, некоему французскому графу времен Тридцатилетней войны и спасенную из пожара, когда «великолепный» графский замок спалили дотла (в действительности софа принадлежала не графу, а обедневшей вдове, которая продала ее Иезекии за три гиней, чтобы покрыть оставшиеся после кончины мужа долги). Дядюшке даже удалось декорировать

¹ Придворный английского короля Генриха VIII, архиепископ Кентерберийский, казнен по обвинению в измене (1514—1541).

верхние комнаты борделя шестью японскими ширмами периода Хэйан (которые он самолично расписал в подвальной мастерской). Если бы покупатели усомнились в подлинности проданных им изделий, Иезекия давным-давно оказался бы в холодных объятиях каменных стен Олд-Бейли¹. Но они не усомнились. И калибр этих покупателей, и глубина их познаний в области изящных искусств и древностей были вопиюще ничтожны.

Подделки, как выяснила Дора за эти годы, вовсе не являются чем-то неслыханным в кругах любителей древностей. Более того, многие джентльмены со средствами заказывают себе копии произведений, увиденных в Британском музее или поразивших их за границей. Но Иезекия... Иезекия не признается в своем обмане — вот это и опасно. Дора прекрасно знает, каким бывает наказание за подобное жульничество — непомерный штраф, стояние у позорного столба, многие месяцы в тюрьме. От одной этой мысли у нее сводит желудок. Она могла бы, конечно, донести на Иезекию, но она от него зависит: дядюшка, магазин — это же все, что у нее есть! — и покуда Дора не встанет на ноги, чтобы жить самостоятельно, она должна оставаться безропотной и наблюдать, как год от года их предприятие идет ко дну, а некогда славное имя Блейка обесценивается и предается забвению.

Но ведь не все артефакты поддельные, успокаивает она себя. Горы безделушек (откуда она время от времени умыкает кое-что для своих нужд), накопленные Иезекией за долгие годы, приносят пусть небольшой, но постоянный доход — стеклянные пуговицы, глиняные трубки, крошечные мотыльки, запаянные в стеклянных сосудах, игрушечные солдатики, фарфоровые чашки, живописные миниатюры... Дора снова бросает взгляд на журнал. Да, продажи у них есть. Но вырученных денег хватает лишь на еду и жалованье Лотти, а откуда Иезекия берет деньги на оплату своих маленьких прихотей, Дора не знает, да и не желает знать. Довольно того, что он постоянно злословит по поводу образа жизни ее покойного папеньки. Довольно того, что здание не сегодня-завтра рухнет, а на ремонт отложена ничтожная сумма. Вот если бы дом принадлежал ей... Дора отгоняет меланхолию, проводит пальцем по прилавку, и ее губа презрительно кривится, когда она замечает грязь на кончике пальца. Неужели Лотти здесь никогда не прибирается?

Словно отвечая на ее мысли, колокольчик снова звенит, и, обернувшись, Дора видит женщину, заглядывающую в приоткрытую дверь.

— Вы уже встали, мисси? Вы завтракаете? Или уже поели?

Дора бросает презрительный взгляд на прислугу Иезекии — дебелую женщину с соломенными волосами, маленькими глазками и вечно опу-

¹ Знаменитый уголовный суд, занимавший величественное здание в лондонском Сити.

ПАНДОРА

щенными уголками рта. Ее внешность идеально соответствует роли прислуги, на самом же деле Лотти Норрис так же далека от блистательных успехов на домашнем поприще, как дядюшка Доры — от победы в состязании атлетов. Нет, правда, по мнению Доры, Лотти слишком ленивая, слишком своевольная, липкая, как пятно дегтя на крыле чайки, да к тому же та еще проныра.

— Я не голодна.

На самом деле Дора голодная. Хлеб она съела часа три назад, но, если она попросит добавки, Лотти наверняка нажалуется Иезекии, что она таскает хлеб из кладовки, а Доре уже порядком надоели его лицемерные нравоучения.

Экономка входит в торговый зал и смотрит на Дору, удивленно подняв брови.

— Не голодна? Да вы же вчера за ужином почти и не ели ничего!

Дора пропускает замечание мимо ушей, но поднимает вверх испачканный палец.

— Разве вам не следует здесь прибираться?

Лотти хмурит брови.

— Здесь?

— А где же еще, по-вашему?

Прислуга фыркает и взмахивает в воздухе пухлой рукой, точно веером.

— Тут же лавка старья, разве нет? Эти вещи и должны быть покрыты пылью. В этом их прелесть.

Дора отворачивается и, возмущенная тоном Лотти, кривит губы. Лотти всегда обращается с Дорой так, словно она тут какая-нибудь служанка, а не дочь двух почтенных антикваров и племянница нынешнего хозяина магазина. Встав за прилавок, Дора раскрывает журнал и старательно точит карандаш, проглатывая гневные слова, танцующие на кончике языка. Лотти Норрис не стоит даже вздоха, с каким она могла бы бросить ей упрек, да и какой смысл это произносить?

— Вы точно ничего не хотите?

— Точно, — коротко отвечает Дора.

— Ну, как знаете.

Дверь начинает закрываться. Дора опускает карандаш.

— Лотти? — Дверь замирает. — А что за дела у дяди в доках, почему он оставил на меня магазин?

Прислуга колеблется и морщит похожий на пенек нос.

— Мне-то откуда знать? — отвечает она, и, когда дверь за ней плотно затворяется и звенит адский колокольчик, Дора догадывается, что Лотти очень даже хорошо это знает.

ГЛАВА 2

На Крид-лейн народу — что личинок в открытой ране.

Пешеходов здесь множество, такое впечатление, что людские толпы изверглись из переполненного чрева Ладгейт-стрит и затопили соседние переулки с неистовством прорвавшей запруду реки. Привычные для большого города запахи кажутся вблизи невыносимо едкими: угольный дым, гниющие овощи, тухлая рыба. Иезекия Блейк идет, плотно прикрывая носовым платком рот и нос. Когда он наконец достигает тихого склона холма Паддл-Док, то переходит на поспешную рысцу, на которую еще способно его корпулентное тело.

Письмо — скомканное от многократного перечитывания — пришло к нему две недели назад, и, сосчитав недели, потребные для столь долгого путешествия этого письма, он надеялся, что сам Кумб прибудет гораздо раньше; терпение Иезекии было уже на опасном пределе.

Замедлив шаги, он отнимает от лица платок и пытается вдохнуть свежего воздуха. Его природная склонность к безделью проявляется в тучной фигуре, хотя в свои пятьдесят два Иезекия не видит в этом ничего, ровным счетом ничего необычного, ибо человек вроде него, столь долго занимающийся подобным делом, должен, вне всякого сомнения, наслаждаться плодами своих трудов. Иезекия трогает парик, мнет поля новенькой шляпы и оглаживает ладонью муслиновый жилет, туго обтягивающий его округлое брюшко. По правде сказать, он не жалеет, что не волен сейчас позволить себе многое — ах, какие предметы роскоши могли бы ему принадлежать! — но скоро, думает он с улыбкой, очень скоро он сможет потакать любым своим прихотям! Последние двенадцать лет он с присущим ему долготерпением ждал. И очень скоро период ожидания завершится!

Подойдя к Паддл-Доку, Иезекия снова прижимает платок к лицу. На этом причале он совершает самые сомнительные из своих сделок. Здесь царит непереносимое зловоние. Это место служит главным образом свалкой для мусора и городских нечистот, которые свозят сюда со всех

лондонских улиц, и доставляемые сюда грузы едва ли кого-то заинтересуют. На радость Иезекии, сегодняшняя сделка совершается в лютую зимнюю пору, ибо в летние месяцы навозные испарения витают в воздухе, проникают повсюду и остаются надолго: на волосках в носу, на ресницах, на одежде, на больших и малых ящиках с грузом. Последнее, чего бы он хотел для самого драгоценного своего приобретения, так это чтобы оно пропиталось этой нестерпимой вонью. Ну нет, думает он, это уж ни в какие ворота...

Причал — маленький и узкий по сравнению с другими — втиснут между двумя высокими постройками с заколоченными окнами. Иезекии приходится вжиматься спиной в закопченные стены, чтобы протиснуться сквозь шумную толпу портовых рабочих. Он тщетно пытается отвернуться от ночных ассенизаторов, опорожняющих повозки с экскрементами, и не смотреть на непривлекательное содержимое наполненных до краев ведер, которые мрачные мужчины со стуком ставят на мостовую. Его каблук попадает на что-то скользкое и едет вперед (лучше даже не пытаться гадать, что бы это могло быть), и Иезекия утыкается в спину китайца с ведром в руке — при столкновении ведро начинает раскачиваться, так что смрадная жижа грозит выплеснуться наружу. Иезекия невольно упирается рукой в стену, чтобы удержать равновесие, и возмущенно глядит на китайца, но тот не выказывает ни сожаления, ни даже признака того, что замечает его присутствие, — молча уходит, прежде чем Иезекия успеет выразить свое негодование. Со слезящимися глазами он дышит в плотно прижатый к лицу носовой платок и нетвердым шагом спускается по наклонному съезду с разгрузочной платформы вниз к берегу реки.

Портовый бригадир, распоряжающийся погрузкой барж, которые пойдут вниз по реке, стоит спиной к Иезекии, и тот вынужден кричать, перекрывая грохот и гомон:

— Мистер Тибб, эй, послушайте, мистер Тибб!

Джонас Тибб слегка поворачивает голову, чтобы посмотреть, кто это кричит, а потом снова глядит на баржи и, махнув рукой в сторону реки, произносит что-то, чего Иезекия не может расслышать. Тогда бригадир разворачивается к нему всем телом и неспешно поднимается по ступенькам на разгрузочную платформу, где его нетерпеливо дожидается Иезекия.

— Опять вы, мистер Блейк? — Тибб засовывает грязные пальцы за пояс штанов и глядит на реку. Сегодня хоть и холодно, но сухо, и небо ясное, а вода в реке неподвижная, как в пруду, и гладкая, как стекло. — Я же вам вчера сказал, что никаких известий нет. Ничего не изменилось с тех пор, как солнце село и снова встало.

У Иезекии горестно опадают плечи. Он чувствует, как где-то внутри копошится раздражение, и его пронзает вновь пробудившаяся в душе досада. Глядя ему в лицо, Тибб вздыхает, снимает свою вязаную шапку и чешет лысину.

— Сэр, вы же сами сказали, что ваши люди не захотели выбрать более быстрый путь по суше. От Самсона до нас почти пятьсот миль, а с этими зимними штормами всегда надо учитывать день-другой задержки. И чего вы ходите сюда, если я обещал сообщить вам о прибытии груза?

Обыкновенно Иезекия не позволял разговаривать с собой в таком тоне. В конце концов, он уважаемый торговец, и в иных обстоятельствах этот мужлан не удостоился бы и его взгляда, но бригадир портовых рабочих никогда не интересовался, отчего Иезекия проворачивает свои торговые сделки таким вот образом, и вообще никогда не проявлял излишнего любопытства.

— Черт подери, Тибб! Вы понятия не имеете, что это за товар. Этот груз стоил мне немалых денег.

Денег, думает он с досадой, которых он не мог себе позволить.

Тибб поднимает плечи, чтобы, как может показаться со стороны, пожалеть ими, но потом явно передумывает. Его слезящиеся серые глаза весело сощуриваются.

— Я уверен, что Кумбы вас не подведут. Такого же раньше не бывало, верно?

Лицо Иезекии проясняется.

— Не бывало. И правда, ни разу.

Тибб коротко кивает, нахлобучивает шапку, а Иезекия что-то ворчит себе под нос, раздраженный тем, что дал слабину на глазах у простолудина.

— Ну ладно, — говорит он. — Тогда надеюсь, что вы пошлете мне весточку своевременно. Пусть мне доставят записку сразу, как только вы увидите, что судно вошло в порт, вы меня поняли?

— Есть, сэр!

— Очень хорошо!

И Иезекия — с носовым платком, прижатым к лицу, — проделывает тот же малоприятный путь на холм Паддл-Док, минует столпотворение на Крид-лейн и сразу попадает в людской водоворот на Ладгейт-стрит. Душа его беспокойна и настроение испорчено, невзирая на ободряющие слова бригадира портовых рабочих.

Где же эти Кумбы? Где же его груз, его долгожданный трофей? Возможно, что-то стряслось: они попали в засаду, а может, Кумбы просто сбежали с грузом, или — и тут Иезекия издаст лающий смешок, отчего молочница бросает на него испуганный взгляд и сильно наклоняет

ПАНДОРА

коромысло для бидонов, и край коромысла плюхается прямо в молоко! Нет, эта мысль слишком ужасна, слишком нелепа и смехотворна, чтобы воспринимать ее всерьез. Быстрее, думает он, быстрее! Нужно что-то купить, чтобы унять бурю в душе.

Внимание Иезекии привлекают витрины магазинов, его глаза разбегаются, точно бильярдные шары из разбитой пирамиды. Новую табакерку? Нет, у него уже есть две. Еще один парик? Он трогает изящный локон возле уха, ощущает шелковистость натуральных человеческих волос. Это уже неслучайная покупка, довольно дорогая. Может быть, булавку для галстука? Но тут наконец его взгляд кое на чем останавливается, и он улыбается, ощущая знакомый прилив неодолимого желания и удовольствия от мысли, что это изделие предназначено именно ему. Он заходит в магазин и совершает покупку в считанные мгновения (и в кредит).

Выйдя из лавки, он похлопывает себя по груди, ладонь нащупывает сверточек, что уютно уместился во внутреннем кармане пальто, и, поправив шляпу, Иезекия с широкой улыбкой продолжает свой путь.

ГЛАВА 3

Ужин — событие мучительное. В отличие от прочих помещений, в небольшой столовой с богатыми бордовыми обоями и камином, где весело потрескивают дрова, уютно и тепло. Ей было бы приятно здесь сидеть, находись она в другой компании. Дора и Иезекия никогда не коротают время за приятными беседами, особенно в последние недели. Рождество прошло без всяких развлечений, потому что Иезекия был мрачен и раздражителен, и ей стоило немалых усилий сохранять в эти дни душевное спокойствие. Его мрачный настрой — такого раньше, кажется, не было! — никуда не делся и после Нового года. Дора изо всех сил старалась не попадаться дядюшке под руку, потому что раздражение клубилось над ним, словно туман над Темзой. Она сжала в пальцах салфетку. С радостью провела бы этот вечер в компании Гермеса в своей сырой, продуваемой сквозняками спальне, вправляя стеклянный овал в кольцо. По правде говоря, Дора ведет куда более полезные дискуссии с Гермесом, чем с кем бы то ни было, хотя он всего лишь птица.

Дора задумчиво наблюдает за дядей. Иезекия сегодня выглядит рассеянее обычного — ест медленно и не сводит взгляда с большой карты мира, что висит на стене у нее за спиной. Дядя невзначай трогает свой шрам — тонкую белую полоску, пересекающую его щеку. Он покашливает и ерзает, постукивает пальцем по винному бокалу, и звяканье стекла создает тягостному вечеру еще и неприятный звуковой фон. Другой рукой Иезекия то и дело теребит блестящую луковичку карманных часов, свисающих у него из жилетного кармана. Часовая цепочка бликует от пламени свечи.

Дора пристально вглядывается в эти часы после того, как дядюшка в шестой раз их трогает, и пытается припомнить, видела ли она их у него раньше. Может быть, часы принадлежали папеньке? Нет, она бы помнила. Значит, это его новое приобретение, решает Дора, но держит язык за зубами. В последний раз, когда она осмелилась поинтересоваться, как это Иезекия может позволить себе подобные побрякушки, его лицо пу-

гающе побагровело и он принялся распекать ее так громко, что у нее звенело в ушах до самого утра. Дядя опять кашляет, пытаюсь удержать на вилке огромный кусок баранины, грозящий вот-вот упасть, и Дора не выдерживает:

— Дядюшка, вам нездоровится?

Иезекия подпрыгивает и впервые за весь день смотрит на нее в упор. Его взгляд на миг выдает сильную тревожность, какой Дора прежде никогда не замечала, но она тут же исчезает.

— Что за вздор! — Он жует мясо с открытым ртом, словно корова. Капля густой подливки падает ему на подбородок. — Я размышлял о будущем антикварной лавки. Мне представляется...

Дора выпрямляется на стуле. Неужели он наконец собрался обсудить с ней совместное управление магазином? Потому как у нее есть соображения, масса замечательных соображений! Во-первых, она бы избавилась от балласта фальшивок и компенсировала бы его подлинниками, приобретенными у старых знакомых папеньки. Во-вторых, на вырученные деньги надо бы нанять людей для проведения раскопок в заморских странах, поручить художникам и граверам подготовить каталог находок. Их антиквариат снова мог бы попасть в справочник аукционного дома «Кристис», стать достоянием ученых и коллекционеров, они могли бы открыть здесь небольшой музей или маленькую библиотеку. А если говорить о фривольной стороне их дела (есть и такая!), они вполне способны потрафлять озорным надобностям аристократов, устраивающих тематические суаре для узкого круга. В общем, пора бы возродить былую славу магазина. Начать все заново.

— Да?

Иезекия глотает прожеванную баранину, отпивает из бокала изрядный глоток вина.

— Теперь, когда мы вступили в новый год, мне представляется, это удачный момент для продажи. Я устал от торговли. В конце концов, есть много других занятий, которые могут доставлять удовольствие, и много гораздо более интересных вещей, в которые я бы мог вложить свои деньги.

Он говорит с безразличием в голосе, почти холодно, и Дора широко раскрытыми глазами смотрит на него через стол.

— Вы хотите продать папенькин магазин?

Он спокойно встречает ее взгляд.

— Это не его магазин. Он естественным образом перешел ко мне после его кончины. Что там написано на вывеске — «Элайджа» или «Иезекия»?

— Вы не можете его продать, — шепчет она. — Просто не можете!

Он отмахивается от ее слов, точно отгоняет муху.

— Времена меняются. Антиквариат вышел из моды. Денег от продажи лавки хватит, чтобы приобрести хорошую недвижимость в более уважаемой части города. Мне такая перемена была бы по душе. — Он вытирает салфеткой уголки рта. — За это здание можно выручить неплохие деньги, как и, я уверен, за все его содержимое.

Дору охватывает оцепенение. Продать магазин? Дом, где прошло ее детство?

Она судорожно вздыхает.

— Как вам не стыдно, дядюшка, даже думать об этом!

— Перестань, Дора! Магазин уже не тот, что был раньше...

— И кто в этом виноват?

У Иезекии раздуваются ноздри, но он пропускает мимо ушей и эти слова.

— А я полагал, что ты будешь рада сменить обстановку, оказаться в более... гм... свободной среде. Разве ты не этого хочешь?

— Вы знаете, чего я хочу!

— О да, — ухмыляется он. — Эти твои рисуночки! Тебе бы лучше найти кого-то, кто захочет приобрести для тебя такие украшения, чем самой пытаться их придумывать.

Дора кладет приборы на стол.

— И куда бы я их носила, дядюшка?

— Ну... — Иезекия запинается и издает короткий смешок, скрытый смысл которого трудно распознать. — Кто знает, куда нас может занести судьба? Ты же не хочешь провести здесь всю свою жизнь, а?

Дора отодвигает тарелку, у нее окончательно пропадает аппетит — его и без того не возбуждала убогая стряпня Лотти.

— Меня, дядя, больше привлекают практические усилия, нежели полеты фантазии.

— А создание ювелирных украшений — это практическое усилие или полет фантазии?

Дора отворачивается.

— Вот и я о том же, — говорит он с нескрываемым ехидством. — Ни один ювелир не возьмет к себе женщину, чтобы она придумывала эскизы новых украшений, и ты сама это понимаешь. Я это твержу тебе уже сколько времени. Но ты не слушаешь! Только портишь альбомы для эскизов, которые я тебе покупаю. Ты хоть знаешь, почему нынче хорошая бумага?

Входит Лотти, чтобы убрать грязную посуду. Самое время, потому что у Доры глаза на мокром месте. Когда экономка двигает пустую тарелку хозяина по столу, Дора опускает голову ниже. Будь она проклята, если позволит им увидеть ее слезы!

— Я не хочу работать у ювелира.

— Тогда чего ты хочешь?

Дора понимает, что говорит слишком тихо. Она берет себя в руки, поднимает голову и глядит прямо в глаза дядюшке.

— Я не хочу работать на ювелира, — упрямо повторяет она. — Я хочу открыть собственную ювелирную мастерскую.

Иезекия на миг теряет дар речи. Лотти тоже тарашит глаза и застывает с пустой тарелкой в руке, так что остатки подливы грозят вылиться на пол.

— То есть самой делать ювелирные украшения?

В голосе дяди слышатся теперь веселые нотки, и его насмешливый тон заставляет Дору покраснеть.

— Я хочу стать признанным художником, чтобы какой-нибудь ювелир делал украшения по моим эскизам. Может быть, маменькин знакомец мистер Клементс.

Повисает тишина. Дора и не ожидала, что Иезекия поддержит ее намерение — на это было бы глупо надеяться, — но когда взрыв ядовито-насмешливого хохота, сорвавшегося с дядиных губ, подхватывают хихикающие всхлипы Лотти Норрис, ее захлестывает волна гнева.

— О, всемилостивые небеса! — со вздохом восклицает Иезекия, утирая толстым пальцем слезы в уголках глаз. — Это самая забавная новость из всех, что я слышал за последние несколько недель. Слыхала, Лотти, какую чудесную шутку она нам поведала!

Дора мнет в кулаке накрахмаленную салфетку, обращая на нее клочущее в ее душе отчаяние.

— Уверю вас, сэр, — произносит она твердо, — я говорю это вполне серьезно.

— В том-то и шутка! — вскрикивает Иезекия. — Ничего не скажешь — практическое начинание! У тебя же нет ни образования, ни капитала для этого занятия! Да кто же в здравом уме серьезно отнесется к полукровке-сироте вроде тебя? Да над тобой все будут насмехаться прежде, чем ты успеешь заняться этим ремеслом! — Он откидывается на спинку стула, и лицо его принимает спокойное выражение. — Тебе от матери достался творческий талант, не спорю. Но ты, подобно своей матери, слишком уж высокого мнения об этом таланте. Она была уверена, что вместе с твоим отцом, моим дорогим братом, упокой Господь его душу, она сможет сколотить состояние на антиквариате, что они получат признание во всем мире за их... мм... уникальные находки. Но сама посмотри, к чему привела ее гордыня...

Дора молчит. Она давно свыклась с дядиным равнодушием, столь болезненно воспринимавшимся ею в былые годы. Вспышки гнева — с ними

она тоже могла совладать. Но вот это бессердечное презрение появилось совсем недавно, и с ним Дора смириться никак не могла. Она делает очень глубокий вдох, который больно растягивает ей легкие, и начинает отодвигать стул, чтобы встать, но тут Иезекия поднимает руку.

— Сядь. Мы еще не закончили.

«А я закончила». Но слова прилипают к языку, и Дора не может их произнести в ответ на приказание дяди, поэтому вперяет сердитый взгляд в свою пустую тарелку и шепчет про себя греческий алфавит, чтобы успокоиться: «Альфа, бета, гамма, дельта...»

— Лотти, — слышит Дора голос Иезекии, — принеси-ка нам чаю.

Служанка — сама учтивость. Когда за ней затворяется дверь, Дора чувствует, что Иезекия снова поворачивается к ней и издает невеселый смешок.

— По крайней мере, я могу восхищаться твоим устремлением, столь же возвышенным, сколь и неосуществимым. Рисуй, если ты этого так хочешь. В ближайшие месяцы это будет держать тебя в приподнятом состоянии духа. Я даже продолжу снабжать тебя бумагой для рисования.

Что-то странное слышится в его голосе. Дора хмурится и смотрит на него.

— Дядюшка?

Иезекия лениво поглаживает свой шрам на щеке.

— В последний год ты стала писаной красавицей. Прямо как твоя мать... — В камине с треском вспыхнуло полено. — Тебе уже двадцать один год, — продолжает он, наваливаясь всем весом на упертые в стол локти. — Женщина. Ты уже достаточно взрослая, чтобы продолжать жить со мной под одной крышей.

Дора молчит, и тут до нее доходит смысл сказанных им слов. Она шумно сглатывает.

— Вы хотите избавиться от меня.

Он разводит руками.

— Но ведь и ты тоже хочешь от меня избавиться!

Дора молчит, с этим не поспоришь.

— И куда же вы хотите, чтобы я ушла? — спрашивает она, но Иезекия только пожимает плечами. И улыбается.

Тяжесть давит на грудь, ей трудно дышать. Дора не понимает, что означает эта улыбка, но она отлично знает дядю, чтобы понять — его улыбка не сулит ей ничего хорошего.

За ее спиной распахивается дверь. К Доре возвращается способность дышать, и тут Лотти ставит на стол чайный поднос. Тонкая фарфоровая посуда тихо позвякивает.

ПАНДОРА

— Вот чай, сэ́р! — сияя, говорит она. — И еще я принесла засахаренные сливы, как вы заказывали. Они сегодня свежайшие!

Лотти машет восьмиугольной коробкой.

— Дай одну Доре, Лотти!

Прислуга с сомнением прищуривается, но выполняет просьбу Иезекии, а Дора во все глаза смотрит на коробку, на уложенные внутри сладости. С опаской бросает взгляд на дядю, который наблюдает за ней, сцепив ладони под подбородком.

— Что это такое?

В ее голосе сквозит недоверчивость. Она ничего не может с собой поделать.

— Засахаренные сливы, — отвечает Лотти. — Вкуснейший деликатес!

Лотти подносит коробку под нос Доре, она улавливает сладкий аромат, но все равно сомневается.

— Давай! — настаивает Иезекия. — Попробуй хоть одну!

Она нерешительно выбирает лежащую в середине сливу и надкусывает ее: зубы погружаются в желеобразный шарик, и целое мгновение Дора наслаждается изумительным ощущением. Вкус сладкой ягоды взрывается у нее на языке, раскрываясь разными нюансами: ванили, специй, апельсина и орехов — такого она в жизни не пробовала, но тут Дора ловит взгляд Иезекии, устремленный на нее через стол. Так он еще никогда не глядел на нее.

Так кот смотрит на ничего не подозревающую птицу. Голодным, расчетливым взглядом.

ГЛАВА 4

Умопившись на тесной оттоманке у окна в небольшом алькове, Эдвард Лоуренс наблюдает за тем, как январь начинает свою жестокую и безжалостную игру. Утро сегодня холодное, как надгробная плита, и ветер закручивает безумные вихри, срывая охапки колючих льдинок и усыпая ими колоннаду Сомерсет-хауса. Сикоморы, окаймляющие главную аллею, гнутся под порывами ветра, и пустые птичьи гнезда отчаянно вцепляются в голые ветви, как нищий в найденный на мостовой кусок хлеба. Вода в фонтане замерзла, тропинки покрыты коварно гладкой коркой льда, баржи на Темзе сердито качаются у причалов.

Сколько он уже ждет, Эдвард не знает. В дальнем конце длинного аванзала, над большими дверями, за которыми сейчас решается его судьба, виднеются часы, но их давно не заводили. У него болят плечи оттого, что он сидит ссутулившись в такой тесноте; да и эта оттоманка у окна слишком жесткая и неудобная. За время томительного ожидания Эдвард грыз заусенцы на пальцах и уже дважды пересчитывал фрески на потолке. А уж сколько раз повторил про себя девиз Общества — *Non extinguetur*, — он и вспомнить не мог. «Неугасимые». Вот так. Он, верно, ждет уже час. Или несколько минут.

На коленях у него лежит доклад, который он представил комитету. Простой переплет, бумага — самая дешевая, что есть в продаже, но это плод его любви, его наивысшее достижение за двадцать шесть лет жизни, которое, как надеется Эдвард, станет его пропуском в Общество древностей¹. «Опыт исследования памятника пастуху в Шагборо-холле». Теперь все зависит от исхода выборов — количества «синих записок». Нужно как минимум пять голосов.

Когда дверь наконец открывается, Эдвард встает, прижимая свой «Опыт» к груди. Корнелиус Эшмол, его старинный (и единственный)

¹ Национальное историко-археологическое научное общество Великобритании, основанное в 1707 году. С 1751 года — Королевское общество древностей.

друг, направляется к нему, и паркет скрипит под его тяжелыми шагами. Эдвард выдавливает улыбку надежды, но по выражению лица Эшмола понимает, что тот пришел с дурными вестями. Подойдя к нему, Корнелиус виновато качает головой.

— Только два голоса «за».

Обескураженный, Эдвард опускается на оттоманку, и сжимающие опус руки безвольно повисают между коленями.

— Это моя третья попытка, Корнелиус, я все так тщательно...

— Ты же знаешь методы Гофа. Я тебя предупреждал. Ему требуется нечто менее загадочное, основанное на научных изысканиях в области древностей.

— Но в отсутствие фактов, Корнелиус, приходится прибегать к логическим допущениям! — Эдвард поднимает доклад и трясет им перед лицом друга. — Мне казалось, этого будет довольно. Мне правда так казалось. Я углубился в детали. Мои рисунки...

— «Любитель» — боюсь, так они тебя назвали, — скривившись, отвечает Корнелиус. — Они все еще не могут забыть таких, как Стакли. Если для тебя это станет хоть каким-то утешением, они сказали, что ты — многообещающий исследователь. Основательность твоих описаний и впрямь произвела на них глубокое впечатление.

— Хм...

Длинноногий Корнелиус присаживается на корточки.

— Многие, — учтиво продолжает он, — принимаются в Общество уже в зрелом возрасте. Некоторые — глубокими стариками.

Эдвард бросает на друга печальный взгляд.

— Полагаешь, это может меня успокоить? — И добавляет: — Тебе-то самому лишь тридцать!

— Но я познал все прелести Гран-тура. Целое лето я раскапывал итальянские гробницы, а по возвращении смог посвятить свое свободное время научным интересам. К тому же мой отец — член совета Общества! — Видя, как сильно расстроен Эдвард, он ободряюще кладет руку на плечо молодому человеку. — Я вовсе не хочу кичиться перед тобой своей счастливой судьбой, но именно такие обстоятельства имеют решающее значение. Подумай сам, как бы ты собой гордился, если бы тебе удалось заполучить место в Обществе лишь благодаря собственным заслугам. Добиться этого не с помощью уловок, а исключительно своим талантом.

Но Эдвард качает головой.

— Насколько же легче тем, у кого есть деньги, добиваться того, что недоступно остальным.

— Ну вот, теперь ты впал в мелодраматичность.

— И это говорит человек, который богат с рождения!

Корнелиусу на это нечего ответить, оба замолкают и вслушиваются в завывания ветра, резко стучащего в оконное стекло. Потом Корнелиус толкает локтем колено Эдварда.

— А помнишь, когда мы были мальчишками, я хвастался, что могу без остановки проплыть до беседки посредине пруда и обратно?

Эдвард улыбается, вспоминая об этом.

— Ты смог осилить только половину пути, начал барахтаться в камышах и едва не утонул.

— А ты сидел в лодке рядом со мной и все уговаривал плыть дальше, не сдаваться, хотя мы оба понимали, что я сглупил, пустившись в этот заплыв.

Так у них всегда и бывало: один подбадривал другого лишь по той причине, что это доставляло ему удовольствие, а вообще же они слишком разные — как вода и вино. Корнелиус был богачом по сравнению с бедняком Эдвардом, хорошо образованным — по сравнению с самоучкой, брюнетом — рядом с блондином. А Эдвард был молчаливым рядом со словоохотливым Корнелиусом, низкорослым в сравнении с долговязым, неудачливым — рядом с везунчиком. Насколько странным дуэтом они были когда-то, настолько же странный представляют собой сейчас, и оба смеются, вспоминая детство, хотя смех Эдварда намеренно приглушен. Улыбка Корнелиуса дрожит и тает. Они вновь погружаются в молчание. Но ненадолго.

— Мне правда очень жаль, Эдвард. Не знаю, что еще сказать.

— Ничего и не надо говорить.

— Кроме разве что... ты не сдавайся! Хотя, полагаю, подобные трюизмы в данной ситуации еще больше тебя удручат.

— Ты правильно полагаешь.

Пауза.

— Но нужно сохранять присутствие духа. Я буду поддерживать тебя, чем смогу, сколько бы это ни стоило, в чем бы ты ни нуждался. И ты знаешь, что так и будет.

— Даже если я сглупил, пустившись в этот заплыв?

— Даже если так.

Эдвард ничего не говорит; ему так горько, что слова Корнелиуса не находят отклика в его душе. Сколько уже потратил Корнелиус на то, чтобы ему помочь? Сколько времени ему позволили провести вне переплетной мастерской? Эти мысли больно ранят его, вгоняют в стыд, и Эдвард встает, ероша пальцами шевелюру.

— Мне пора.

Корнелиус тоже выпрямляется в полный рост.

— Работа может подождать, сам знаешь.

— Не может. Я вот... — Эдвард вздыхает, трясет головой и чувствует, как горячий укол унижения обжигает кожу, словно тавро. — Мне нужно идти.

Эдвард отворачивается и торопливо шагает по коридору, потом входит в аванзал. Корнелиус следует за ним по пятам. Когда они оказываются на верхней площадке широкой лестницы, Корнелиус прекращает свою упрямую погоню, и Эдвард, спускаясь по ступеням вниз, ощущает на спине сердобольный взгляд друга, словно вонзенный в спину кинжал. Желая поскорее избавиться от этого взгляда, он ускоряет шаг, выбегает через главный вход Сомерсет-хауса и, сразу попав в вихрь ветра, укрывается от зимней стужи в многолюдном лабиринте Лондона, в успокоительном потоке уличного движения.

Его переплетенный «Опыт» гнется под порывами ветра. На мгновение у Эдварда возникает желание выкинуть его в первую попавшуюся сточную канаву, но любовь к своему труду пересиливает, он прячет рукопись под пальто и, скрестив руки на груди, прижимает к себе, как щит. Он идет по Стрэнду, опустив голову и утопив подбородок в складках шарфа. Стараются ни о чем не думать, обращая внимание лишь на то, куда поставить ногу — одну, затем другую. Войдя под высокую арку Темпл бара¹, Эдвард радуется, что шумная суета Стрэнда осталась позади.

Утомленный дурными вестями и единоборством с январским ветром, он спешит в кофейню неподалеку от Флит-стрит, но не потому, что его привлекает густой аромат кофе (с большим удовольствием он наслаждался бы большим стаканом эля), а потому, что там тепло; пальцы на ногах почти превратились в сосульки, и Эдвард искренне недоумевает, отчего они еще не отломались. Когда позже он окажется в уютном тепле своей съемной квартирке и начнет стягивать башмаки, оттуда, наверное, вывалятся заледеневшие обрубки.

Эдвард разматывает шарф, находит удобный уголок возле камина и просит принести чашку кофе. «Опыт» он по-прежнему прячет под пальто. Осторожно отпивает кофе, но напиток обжигающе горяч, и, удерживая чашку в обеих ладонях, Эдвард пропитывается умиротворяющим ароматом душистых специй и устремляет невидящий взгляд на каминную решетку.

Время потрачено впустую. Опять.

Предпринимая первую попытку, он даже не надеялся на успех — доклад содержал его мысли о списке прочитанных трудов (позаимствованных у Корнелиуса и отца Корнелиуса) — от ранних исследований Монмута и Ламбарда, Стоу и Кэмдена до более поздних работ Уэнли, Стакли и Гофа. Его знание латыни (ограниченное в некоторых областях) было

¹ Темпл бар — главный вход в Лондонский Сити из Вестминстера.

на надлежащем уровне, а интерес к данной сфере очевиден, но... нет — ему не доставало образования, он не обладал необходимыми знаниями; у него не имелось собственных оригинальных идей. Эдвард вознамерился продолжить исследования, решив сосредоточить усилия на изучении статуй в лондонских церквях, потому как этих штукovin здесь было до черта. Он возлагал немалые надежды на свою вторую попытку. Но полученный им ответ гласил: хотя его доклад произвел хорошее впечатление, было очевидно, что автор и на сей раз не выдвинул никаких новых идей, и тогда Эдвард избрал иной путь.

В детстве Эдвард и Корнелиус частенько обследовали глухие уголки Стаффордшира, окрестности Сэндбурна, сельского имения Эшмолов. И соседнее имение Шагборо-холл — менее чем в шести милях и всего в трех, если добираться туда по реке, — нередко становилось для двух друзей ареной увлекательных приключений. Эдвард и теперь помнил, как однажды они втихаря забрались на территорию имения и обнаружили памятник, словно намеренно укрытый в лесной чаще. Это было в высшей степени примечательное изваяние — большая красивая арка с двумя высеченными из камня головами, похожими на двух суровых часовых. Между этими головами была установлена прямоугольная плита с рельефным изображением четырех фигур, стоящих у гробницы. Это была, как позднее узнал Эдвард, копия картины Пуссена, но с некоторыми изменениями: дополнительными саркофагами и надписью, где упоминалась «Аркадия». Но что глубоко потрясло Эдварда, даже тогда, в детстве, так это восемь букв, вырезанных на пустой поверхности камня под скульптурой: O U O S V A V V сверху, и еще D и M между буквами. На римских гробницах буквы D и M обыкновенно означали Dis Manibus — то есть «Посвященный теням». Но здесь же не римская гробница! Значит, это шифр¹.

Какая замечательная тема для исследования, что может быть лучше такого способа получить доступ в Общество, куда он многие годы так жаждал попасть? Заимев рекомендательное письмо от Корнелиуса и щедрое пожертвование, туго набившее его кошелек, Эдвард получил разрешение остаться в имении и свободно обследовать его территорию.

Он перебрал все пришедшие ему в голову предположения: зашифрованное любовное послание покойной супруге, акроним латинского изречения или просто буквы, высеченные после завершения памятника и являющиеся инициалами нынешнего владельца — некоего Джорджа

¹ Надпись Шагборо — загадочная последовательность букв, высеченных на каменной плите с зеркальным изображением картины Н. Пуссена «Пастухи Аркадии», которую обнаружили в конце XVIII века в имении Шагборо-холл в английском графстве Стаффордшир. Этот текст так и не был расшифрован.

Адамса, его жены и их родственников (хотя сам мистер Адамс отказался давать свои комментарии). Эдвард учел даже тот вариант, что буквы могли указывать на координаты затонувших в море сокровищ — на эту мысль его навела история морских путешествий владельцев Шагборо.

У Эдварда ушло четыре месяца на то, чтобы завершить свои изыскания, пролившие свет на эти столь несхожие гипотезы, и еще два месяца, чтобы свести их воедино. Никого, за исключением Джозайи Веджвуда¹, прежде не интересовала эта надпись, но он заметил ее десять с лишним лет тому назад, о чем сделал пару записей, стоящих внимания. И, несмотря на то что сопроводительные рисунки Эдварда были сочтены — как мрачно аттестовал их Корнелиус, — «любительскими», его подробный доклад значительно превосходил любое исследование данного памятника, видевшее свет до сих пор. Уже одно это, как полагал Эдвард, гарантировало ему успех.

Но этого оказалось недостаточно.

— Послушайте, друг мой, неужели все так плохо?

Очнувшись от своих раздумий, Эдвард поднимает глаза, желая узнать, кому принадлежит этот голос. В кресле напротив него сидит пожилой джентльмен в выдавшем виды шерстяном костюме. У него длинные седые волосы и старомодная седая борода. Сам того не желая, Эдвард отвечает горьким смешком, трясет головой и подносит ко рту кофейную чашку. Делает глоток, и лицо его искажает гримаса. Напиток совсем остыл. Сколько же времени он тут просидел, позабыв обо всем?

Седовласый джентльмен поднимает два пальца вверх, подзывая подавальщицу.

— Еще кофейник, будьте так любезны! — и обращается к Эдварду: — Не желаете присоединиться?

— Я сейчас не очень хороший собеседник.

— Чепуха! Я настаиваю!

Эдвард не без колебаний соглашается. Ему не хочется выглядеть грубияном, это испытанное разочарование ожесточило его. А седой джентльмен, думает Эдвард, искренне старается быть с ним любезным.

— Благодарю вас, сэр.

Кофейник на столе. Старый джентльмен разливает кофе по чашкам.

— Итак, — говорит он, — чем вы так опечалены?

У него твердый голос, который опровергает почтенный возраст. Сколько же ему — семьдесят? Восемьдесят? Эдвард глядит на него, те-

¹ Джозайя Веджвуд (1730—1795) — знаменитый английский керамист, королевский поставщик, создатель мануфактуры «Этрурия», член Королевского научного общества (с 1783 г.). Родной дед Чарльза Дарвина.

ряясь в догадках. Стоит ли довериться незнакомцу? Но, как только ему в голову приходит такая мысль, он чувствует неодолимое желание забыть о всякой предосторожности — теперь это не имеет никакого значения.

— Тем, что мое третье и последнее прошение о вступлении в Общество древностей было отвергнуто. — С этими словами Эдвард распаковывает пальто и бросает свой «Опыт» на стол между ними. Брошюра с глухим стуком падает, раскрывается, страницы шелестят. — Вот, моя свежая неудача.

Глаза старика — необычного голубого оттенка, замечает Эдвард, — внимательно изучают гравюру в тексте. Он удивленно вздергивает брови.

— Неужели? Возможно, это всего лишь временная заминка, но едва ли конец света, а? Почему вы говорите «последнее»?

— Потому что я не могу тратить время на четвертую попытку.

— Что вам мешает?

— Отсутствие денег, сэр. И времени.

— А!

Воцаряется молчание. Эдвард чувствует, что требуется более подробное объяснение.

— Я работаю переплетчиком книг. Мое ремесло обеспечивает мне скромный доход, но оно мне не интересно. Оно меня не вдохновляет. — Эдвард качает головой, слышит в своем голосе нотки жалости к себе, но, раз начав исповедь, уже не может остановиться. — Я вырос в большом имении, все детство проводил раскопки поблизости, собирал разные вещицы. Мы с моим другом часами копались в лесах, притворяясь великими исследователями вроде Колумба или сэра Уолтера Рэли.

Пожилый джентльмен с понимающим видом кивает.

— И что же произошло потом?

— Мой друг отправился учиться в Оксфорд, а я — в Лондон, в переплетную мастерскую.

Эдвард успевает быстро отхлебнуть кофе, прежде чем из глубин его памяти изливаются другие события. Он ставит чашку на блюдце. Джентльмен молча смотрит на него изучающим взглядом. Спустя какое-то время Эдвард продолжает:

— Друг советует мне не отступать.

— Я бы прислушался к его совету.

— Мой благодетель, — горько усмехается Эдвард. Испытывая к Корнелиусу благодарность, он не может смириться с тем, что зависит от кого-то. Он чувствует себя не мужчиной, а зеленым пацаненком, так и оставшимся помощником конюха.

Старик склоняет голову и, кажется, раздумывает над этой горькой репликой.